

VI. ВТОРАЯ РЕЧЬ В. ПОЛОНСКОГО

Председатель: Позвольте считать 7-е собрание открытым. В прошлый раз было намечено на сегодняшний день заключительное слово, но т. к. от ряда выступавших поступили заявления о желании дополнить свое выступление в той части, которую они считают не дошедшей до аудитории, то сегодняшний день начнется рядом выступлений, посвященных этим вопросам. Слово имеет тов. Полонский.

Полонский: Я решил взять слово именно для того, чтобы кое-что, не дошедшее до аудитории, до нее дошло. Третьего дня на дискуссии мне передали последний номер «Литературной газеты». Там я нашел резолюцию 4-го пленума правления РАПП. Вот что прочитал я в этой резолюции по моему адресу: «усилить борьбу с правоопportunистическими извращениями в вопросах попутничества, наиболее ярко проявляющимися в настоящее время в выступлениях Вяч. Полонского и находящими свое отражение в части рапповской критики». Резолюция эта была вынесена конечно в моем отсутствии, — меня не

позвали, никаких вопросов мне не задавали.

(Селивановский: И не нужно).

Селивановский говорит: и не нужно. Ему все ясно. Он все знает. Он убежден, что истина у него в руках, что он конечно застрахован от ошибок. Поэтому он любит судить и осуждать, как говорят, фамилии даже не спрашивая. Но когда вот я становлюсь в положение такого «осужденного», я испытываю затруднение: как на такой «приговор» реагировать? Передо мной постановление пленума РАПП, могущественной организации. Оно не может не иметь известного удельного веса. Постановление вынесено, запротоколировано, пущено в оборот. Правоопportunистические извращения Полонского официально, так сказать, удостоверены. Поди, апеллируй к общественному мнению. Поди, доказывай, что ты не верблюд! И мне вспоминается следующий анекдотический случай. Врач, спешно проходя по палате, пощупал на ходу голову пациента и кивнул санитарам: «В покойницу!» Санитары, не мешкая,

положили его на носилки и понесли. Между палатой и покойницей больной проснулся: «Куда вы меня несете, братцы?»—«В покойницкую».—«Так ведь я еще жив!»—«Рассказывай, врач сказал, что помер, значит помер».

Уважаемые товарищи, вынесшие резолюцию, напомнили мне такого врача: чего долго раздумывать, заниматься исследованием вопроса; слушали и постановили: «правооппортунистические извращения» и кончено. Дальнейшее предоставить санитарам.

Третьего дня, вот здесь, читая эту резолюцию, я на секунду действительно почувствовал себя как бы на носилках: вот несут меня живого в покойницкую, впереди бойко в носилках идет Эфрос, сзади—бравый Мстиславский, а сбоку спешно роет могилу довольный Виктор Гольцев. И мне показалось, что действительно они могут меня зарыть. Положение, как видите, тяжкое. Что делать? И вот я прыгаю с носилок, я прихожу сюда и с этой трибуны заявляю, что я жив и хочу собственными своими устами говорить о своих ошибках и о том, в какой мере данная резолюция совсем не верна.

Резолюция эта вынесена по докладу Селивановского. Мне кажется, что она принадлежит также перу Селивановского. Единство «стиля» этой резолюции и его доклада — несомненно. Несомненно также и то, что резолюция о моем правом оппортунизме есть не что иное, как оргвывод из его же статьи, посвященной моему недавнему, предпоследнему крупному произведению «Концы и начала». Для меня таким образом становится ясным, почему в том же номере «Литературной газеты» репортер пишет о моем выступлении так: «В. Полонский упорно отстаивал свою пресловутую статью «Концы и начала». Почему «пресловутую»? Почему доклад Селивановского «не пресловутый», а моя статья «пресловутая»? И почему газета ставит мне в вину, что я «популярно излагал» эту статью, и не ставит в вину Селивановскому, что он, подобно мне, на том же собрании, так же как и я, популярно излагал свой доклад, прочитанный ранее на пленуме РАПП? Селивановскому это можно, а Полонскому запрещено? Я не говорю уже о том, что репортер скрыл от чи-

тателей содержание моей часовой речи. Он не привел из нее ни одной существенной мысли, он просто оклеветал меня, сведя мое выступление к одному полемическому замечанию, брошенному мимоходом. Все это, разумеется, не случайно. В этом видна система, та самая, которую проводят по моему адресу товарищи из РАПП, — система травли, система передержек, система извращения моих высказываний. И эту систему мне приходится рвать без миндальностей. Здесь причина тех враждебных, недружеских отношений, которые сложились между мной и некоторыми товарищами из РАПП. Сегодня, говоря о своих ошибках, я принужден буду говорить также о той неправде, которая систематически на меня возводится. И вот, возвращаясь к резолюции, я ставлю перед присутствующими вопрос: скажите пожалуйста, если наиболее ярко оппортунистические извращения проявляются в моей деятельности, то ведь нельзя же мою деятельность как критика отрывать от моей деятельности как редактора. Ведь я един, даже с точки зрения не диалектической. И вот я спрашиваю: как могло случиться, что те самые замечательные произведения, которые являются гвоздем дискуссии, которые являются объективным, математически ясным доказательством перехода лучших попутчиков в союзники, как могло случиться, что напечатаны они были в журнале, редактируемом оппортунистом Полонским? Почему именно в «Новом мире» появились «Соть» и «Гидроцентральный», а не в «Красной нови», не в «Звезде»? Случайно это или не случайно? Могут сказать, что случайно. Хорошее у В. Полонского, видите ли, случайно а плохое, видите ли, не случайно. Но ведь цену такой теории мы знаем. Кто-то здесь уже бросил слова о готтентотской морали. Надо ли их повторять? Впрочем не стану называть такое отношение ко мне готтентотским. Я не хочу оскорблять товарищей готтентотов. Я спрашиваю, почему это так? «Новый мир» разделяет судьбу его редактора. По адресу этого журнала сыпались всевозможные упреки. Ему предъявлялись различные обвинения, он подвергался такой придирчивой, мелкой, несправедливой критике,

как ни один другой журнал. И тем не менее «Новый мир» в последнее время дал ряд передовых произведений попутнической прозы, которые являются наилучшим показателем для характеристики положительных процессов, наблюдаемых в попутничестве. Все это происходило в то время, когда другой журнал, ставящий те же задачи, что и «Новый мир», но находившийся фактически в руках налитпостовцев, был на деле журналом, отражавшим правое, реакционное крыло попутничества. Разве «В прок» был напечатан в «Новом мире», а не в «Красной нови»? А «Повесть о страданиях ума»? А «Арабская сказка» П. Романова? А вещи Глеба Алексеева? А «Обреченные на гибель» и многое другое? Ведь весь этот период «Красная новь» редактировалась тт. Раскольниковым, а теперь Фадеевым — членами РАПП? «Новый мир» последние годы завоевал положение журнала именно левого попутничества. Именно потому на его страницах и появились знаменитые вещи Леонова и Шагинян. Это было вовсе не случайностью. И вот редактору, который нещадно браковал реакционные произведения правых попутчиков, неизменно находившие себе приют именно на страницах «Красной нови», этот редактор объявляется правым оппортунистом. Но ведь поступать так — значит извращать факты, закрывать глаза на факты. Неправда ли?

Мне думается, товарищи, не так просто объявить мою позицию сейчас правооппортунистической. Я ссылаюсь на «Новый мир» как на один из частных фактов. Я говорю о нем мимоходом. Более обстоятельно я буду говорить при анализе статьи Селивановского. Не хочу сказать, будто в моей многолетней литературной деятельности, протекавшей в страшно трудных условиях, не было правооппортунистических ошибок. Разумеется, они были. Но ведь надо же понимать: подобно всем вам, и я не стою на месте. Об этом-то я и говорил прошлый раз. Относясь к своим ошибкам как диалектики, к моим ошибкам вы относитесь как механисты.

Обращаясь к статье Селивановского, я хочу на ее анализе показать, насколько определение моей теперешней пози-

ции, данное в революции РАПП, неверно, как сущность моих взглядов на нынешнее положение литературы неправильно, извращенно толкуется моими дорогими тт. из журнала «На литпосту». Я буду это говорить не в порядке личной реабилитации. И не в порядке «исповеди» в грехах. В «Литературной газете» напечатан возмутительный отчет о последнем нашем заседании. Я уже говорил о нем. Он возмутителен потому, что продолжает ту же систему травли В. Полонского, травли беспардонной, травли, которая доходит до того, что в отчет вставляются фразы, которые могут бросить тень на В. Полонского, но которые никем не были сказаны. «Лит. газета» приводит в отчете следующие слова Рейзена: «наши теоретики Эфрос и Полонский» — сказал будто бы Рейзен. Поставить Полонского, революционера, коммуниста, на одну доску с Эфросом, объединить их как «теоретиков» ВССП — это, по мнению редакции «Лит. газеты», должно крепко дискредитировать Полонского. Но ведь все дело в том, что этих слов — я полагаюсь на свою память, и вы, сидящие здесь, это подтвердите — Рейзен не говорил. Вот в моих руках стенограмма его речи — их нет и в стенограмме. Значит?.. Значит репортер эти слова выдумал, он совершил п о д л о г, чтобы клеветнуть на меня, и сделал это с благословения редакции «Лит. газеты», которая думает, что в борьбе с Полонским все средства хороши.

Заключительный абзац отчета чего стоит: Полонский-де, под влиянием «резкой» критики некоторых товарищей стал «просить» аудиторию: выслушайте мою «исповедь». А ведь дело обстоит иначе. Вы ведь были свидетелями: возмущенный демагогией некоторых товарищей, я заявил о готовности моей развернуть здесь картину моих ошибок, которых не скрывал и не скрываю.

Мне приходится говорить об этих вещах потому, что они в сознании тех товарищей, которые моих работ не читали, могут создать фикцию, будто Полонский действительно — махровый оппортунист. Молодые товарищи, которые не знакомы с истинным положением дела, могут действительно поверить этой системе травли: она ведь не проходит без следа.

И если я сейчас хочу остановиться на статье Селивановского, то опять-таки не в порядке личной реабилитации. Я хочу поговорить по существу о тех процессах, которые происходят в попутничестве, о чем мы сейчас дискутируем и лишь мимоходом снять с себя ряд клепов. На тему нашей дискуссии я в январе этого года напечатал большую статью. Вот эту статью и извратил Селивановский. Именно с помощью извращения и передержек он получил возможность говорить обо мне сейчас, в 1931 году, как о правом оппортунисте.

Многие из вас эту статью вероятно читали. Но я прошу все-таки позволить мне цитировать материал так, как это мне нужно для моей задачи, хотя бы мне пришлось цитировать строки, хорошо вам знакомые.

Вот как начинается свою статью тов. Селивановский:

«Вяч. Полонский относится к числу критиков, не торопящихся со своими высказываниями по спорным вопросам литературы. Он обычно предпочитает мудро молчать, выслушивать других и лишь после того выносить свое решение» и т. д.

Таково начало. Характер статьи уже определен. Полонский здесь трактуется как субъект, трусливо мыслящий, повторяющий чужие зады. Обратимся к фактам. Вспомните борьбу с Лефом. Я напал на Леф, когда он был в зените славы, когда с ним блокировался РАПП. И я напал на него один. (Голоса: Правильно!).

Я написал статью «Леф или блеф», и в ней поставил вопрос о судьбе Лефа и предсказал конец этого течения. А что делали вы, товарищи рапповцы? Вы тогда блокировались с Лефом, вы тогда защищали Леф от моей критики. Вы тогда создали с ним единый фронт и дрались против меня, — Авербах плечо к плечу с Левидовым, Селивановский рука об руку с Шкловским. Через полтора года после моей статьи даже слепым стало ясно, что Леф был действительно блефом, — ибо он лопнул, умер, разложился. А теперь налитпостовцы в числе своих больших заслуг ставят борьбу с лефом и с лефовщиной.

Возьмем другой пример. Помните шум с теорией «социального заказа»? Кто о ней не говорил! Ее склоняли на всех

перекрестках, — в том числе и рапповцы. Она завоевала как будто всеобщую популярность. Кто всерьез выступил против теории? Против кого на защиту этой теории пошли единым фронтом и Коган, и Горбачев, и Нусинов, и Брик, т.-е. правые и левые? Да все против того же Полонского. Поинтересуйтесь, почитайте статьи, — вся эта дискуссия прошла в «Печати и революции». Вы убедитесь в правоте моих слов.

Возьмем еще случай. Моя борьба с Рязановым: разве я ждал, чтобы был решен вопрос о том, пользуется ли моральными критериями Рязанов в своей деятельности или не пользуется. Я выступил против Рязанова, а ведь он был — силища, не чета Лефам. Убоялся я мощи Рязанова? Струсил? Вы знаете — не убоялся и не струсил, хотя эта борьба мне дорого стоила. Возьмем мои столкновения с Обществом крестьянских писателей. Допустим, что я был неправ. Я действительно допустил грубые ошибки в полемике с ними. Но о чем говорят эти ошибки? Да именно о том, что я не ждал, когда кто-нибудь вопрос разрешит. В том-то и дело, что я сам ставил вопросы и решал их, не ожидая, чтобы кто-нибудь их разрешил за меня. И здесь, выходит, Селивановский писал про меня неправду.

Напомню наконец историю с «Перевалом». Перевальцы одно время были моими друзьями, — это известно. Они работали в журналах, которые я редактировал. Но наступил момент, когда наши пути стали расходиться. А расходиться они стали до того, как вопрос о «Перевале» был решен дискуссией в Комакадемии. Товарищи Павленко и Слетов, которые были перевальцами, могли бы рассказать о моих переговорах с «Перевалом». Я задолго до дискуссии с «Перевалом» указывал перевальцам на необходимость пересмотра их платформы, сделавшейся реакционной, о необходимости чистки «Перевала» от правых элементов, о создании новой, революционной платформы. В одном из закрытых заседаний в ноябре 1929 г. — там был и т. Павленко — я выступил против «Перевала». Это было в то время, когда Горбов приходил в редакцию «Нов. мира» и заявлял, что он и Катаев встречаются с Авер-

бахом и Сутыриным и ведут какие-то разговоры о чем-то в роде блока. Это было похоже на правду: в то время РАПП еще не «решил» вопрос о «Перевале». И вот на заседании, в ноябре РАПП еще не «решил» вопроса о «Перевале», я выступил с речью, в которой доказывал, что «Перевал» не может существовать далее с той платформой, какая у него есть, что он должен перестроить эту платформу, что он, если хочет существовать в нашем литературном движении, должен сделаться организацией левых попутчиков, а не сборищем левых и правых, каким он был. Это мое выступление — сохранилась ведь стенограмма — вызвало взрыв бешенства в «Перевале». Я помню незабываемое зрелище, — на этом заседании против меня образовался блок перевальцев с налитпостовцами, и Горбов под рапповские аплодисменты громил меня как врага «Перевала». После этого моего выступления Горбов и написал свой пасквиль по моему адресу, нашедший приют в «Красной нови» — под крылом Ивана Беспалова, прославившегося своей последовательностью и принципиальностью. Тогда и Павленко, и Слетов, и все прочие, — также как и многие рапповцы и друзья рапповцев, — единодушно поддерживали Горбова, думая, что его хилой рукой наконец-то меня покарает Немезида. А что произошло вслед за этим? Не вышел блок РАПП с «Перевалом», покинули «Перевал» и Слетов, и Павленко, и Пакентрейгер, и многие другие.

Я вспоминаю, что и Макарьев здесь, совсем в духе Селивановского, бросал на меня густую тень: я-де, — уверял он, — выступаю так, будто хочу всех примирить, всем понравиться. Но ведь присутствующие при нынешнем хотя бы моем разговоре могут удостовериться, что т. Макарьев возводит на меня поклеп: будто бы я хочу так уж понравиться Селивановскому и Эфросу, Левидову и Макарьеву? Будто бы я, падая на «Леф» или на «Перевал», или даже на некоторых рапповцев, являюсь тем примиренцем, какого здесь изображал Макарьев? Вздор все это и выдумка, продиктованная чем угодно, но не честным и беспристрастным отношением к противнику.

Я прошу извинения, товарищи, за это

отклонение. Но ведь необходимость иногда говорить о себе и об отношении ко мне моих дорогих противников, эта необходимость вынужденная. Не по моей доброй воле приходится мне обращаться к этим личным моментам.

Позвольте теперь вернуться к статье Селивановского. Обратимся к существу ее. Он обвиняет меня в том, что я извращаю сущность процессов, происходящих в попутничестве. Маршрут, указываемый мною попутничеству, неверен, — уверяет он. И тот характер нового человека, которого я выставляю как «героя нашего времени», этот мой «герой», новый человек, по словам Селивановского, оказывается не кем иным, как фединским Сваакером.

Если бы это было действительно так, если бы я героем нашего времени объявил Сваакера, то, разумеется, Селивановский прав кругом, а я действительно правый оппортунист. Но если я докажу, что Селивановский не прав, что герой мой — не Сваакер, что в данном случае я ни с какой стороны правым оппортунистом не являюсь, что Селивановский меня оклеветал, тогда вы увидите, что из нас двоих бить надо не меня, что бить меня — преступление, и надо тут кому-то поменяться местами. (С м е х.)

Для этой цели, товарищи, позвольте мне теперь процитировать те места из статьи «Концы и начала», которые имеют прямое отношение к нашей дискуссии. И эту статью я написал, не дожидаясь директив т. Селивановского. В ней я наметил схему, которая мне кажется верной для данного периода советской литературы.

«На наших глазах происходят небывалая ломка и небывалое строительство. В корне меняются производственные отношения. Рушатся быт, понятия, вкусы. От буржуазного порядка в буквальном смысле не остается камня на камне. Разламываются вековые устои жизни. Умирает религия. Рассыпается старая семья. Терпит крах старая философия. Утрачивают власть старые эстетические догмы. Опрокидываются вчера еще неколебимые научные идеи и методы. Все претерпевает решительные перемены. Земля встала дыбом — все переверотилось, сдвинулось со своих

мест. Ценности, недавно обладавшие гипнотической силой, теряют всякий кредит. Вековая культура, феодальная и буржуазная, построенная на частной собственности, на рабстве масс, индивидуалистическая, эстетская, гурманская, утонченная, барская культура падает на наших глазах. Гаснут фетиши буржуазного мира, отступают перед победоносным марксизмом-ленинизмом, меняющим лицо науки и лицо самого мира.

Мы хороним буржуазный порядок. Мы выкорчевываем корни капитализма в нашей стране, строим новые общественные отношения, новые культурные формы, новое искусство. Наш быт обновляется всесторонне. Еще не исчезло старое. Но оно отмирает, разваливается, либо в силу внутренних причин, либо под разрушительным воздействием пролетариата, который для своего торжества расчищает место от ветхого старья. Борьба старого и нового, отживших форм и форм нарождающихся, «концов» и «начал» пронизывает всю нашу общественность, все стороны нашего быта, идеологического и материального.

«Наша литература живет и дышит воздухом грандиозных сдвигов. Она находится сама в состоянии перестройки. Она отражает то новое, что приносит с собой эпоха ломки и строительства».

Вот, товарищи, отрывок, дающий представление об основной установке этой статьи. Я предлагаю вам решить: можно ли эту установку назвать правооппортунистической (Н у с и н о в: Скажите нам что-нибудь поновее!).

Нусинов требует, чтобы я подал ему обязательно что-нибудь новенькое.

Но я сейчас не хочу хватать звезд с неба и предоставляю это Нусинову. Почему я обязан быть изобретателем, а Нусинов обязан жевать жвачку? Мне, может быть, именно и хочется сейчас походить на Нусинова. Разве я не имею права вслед за Нусиновым повторять вещи, которые ему кажутся затертыми истинами? (Голос: Всем кажутся). Но если вы такие умные, о чем нам дискутировать? Если вы все науки превзошли и все знаете наперед, зачем вы пришли сюда?

(Нусинов: Мы думали, что вы скажете что-нибудь свежее.)

Но ведь я еще не успел ничего сказать, а вы меня уже прерываете. Дайте срок: может быть, что-нибудь и услышите. Я ведь привел выписку из статьи, напечатанной мною много месяцев назад. Ее положения конечно могли за это время устареть. Но суть не в том, новы они или не новы, суть в том, дают ли они основание для квалификации их как правооппортунистические положения? Нет, не дают.

В прочитанном мною отрывке, определяющем установку всей статьи, нет ничего правооппортунистического, если, разумеется, не подходить к ней с сугубым пристрастием. В последнем случае можно где угодно найти что угодно.

Игнорируя эту установку, тов. Селивановский уверяет своего читателя, будто все грандиозные проблемы, происходящие в нашей литературе, я свожу к смене героев. В этом как будто вся суть. Но это — чепуха. Селивановский припишет мне какую-нибудь глупость, а потом прыгает вокруг нее и ликует: смотрите, какая ерунда! Ерунда, действительно. Сочинил-то ее Селивановский, а не я. Я писал совсем другое, я писал о смене старого порядка новым порядком, о грандиозных сдвигах, происходящих во всех областях жизни, быта, культуры, философии, об отмирании буржуазного порядка и о зарождении порядка нового, пролетарского. И смена «старого героя» новым — лишь одно из частных следствий этой грандиозной смены культурных эпох.

Допустим, что здесь нет ничего нового. Допустим, что все это до меня уже сказал Нусинов. Предположим, что все это так: разве об этом спор? Разве меня обвиняют в правом оппортунизме только потому, что я мало сказал нового? Нет. Меня обвиняют за существо высказанных мною в этой статье мыслей, за мою постановку вопроса. А я утверждаю, что это есть диалектическая, ленинская постановка вопроса. Вы упрекаете меня, что она не новая. Но одно из двух: или моя установка правильная, не оппортунистическая, и тогда она может быть новой. Или, если вы требуете, чтобы она была обязательно новой, она конечно сможет оказаться оппортунистической в той мере, в какой она отходит от марксизма-

ленинизма. Но ведь такого отхода у меня нет, вот в чем ваша беда. Вы меня обвиняете, будто я своєю перемены, происходящие в литературе, к смене героев. Отвечаю: это ложь. Я говорю о смене классов, о смене производственных отношений. Я говорю о гибели старой культуры, включающей и науку, и искусство, и философию, и психологию и т. д. Слушайте:

«Смена старого порядка повлекла за собою радикальные сдвиги в самом существе литературы. Меняются герои, тематика, образность, весь сложный набор изобразительных и выразительных средств. Меняется стиль искусства. Приходят люди с другим классовым мировоззрением, с новыми вкусами, с иным словарем, с небывалыми задачами, предъявляемыми искусству».

«Происходит грандиозная перестройка, меняется лицо науки и лицо самого мира» — так писал я. Между прочим меняются и герои. И вот тов. Селивановский, критикуя мою концепцию, заявляет, что мой новый герой — **Федина** и **Сваакер**. «Сомнений нет, — написал т. Селивановский в «Лит. газете», — это — кулак Сваакер из «Трансвааля» Федина».

У него на этот счет нет сомнений! Но в таком случае разрешите мне показать вам портрет моего «Героя нашего времени», того «нового человека», о котором идет речь у меня и которого мой уважаемый критик хочет подменить портретом своей собственной фабрикации. Имейте при этом в виду характер моей статьи. Мне хотелось героя наших дней противопоставить той фигуре дворянско-буржуазной литературы, которая была характерной для истекшего периода. Ведь был такой «стержневой», что ли, тип, который проходит по многим произведениям нашей литературы XIX в., это некий облик интеллигента-барина, о котором писал Некрасов: «по свету рыщет» дела себе исполинского ищет». Ведь есть общие, сходные черты и у Онегина, и у Печорина, и у Чацкого, и у Рудина, даже у Базарова, Ивана Карамазова и т. д. И вот из этих общих черт, из фрагментов, из мелких штрихов я хотел в статье своей дать некий синтетический портрет «героя старой литературы» буржуазно-дворянского периода, а рядом с ним, против него по-

ставить облик человека, в наши дни идущего ему на смену. Может быть, мне это не удалось. Может быть, сделано это плохо — не буду спорить. Я не художник. Но ведь спор идет не о том, художественно или не художественно я портрет нарисовал. Спор идет о конкретных чертах самого портрета: кулак — это Сваакер — или не кулак. Словом, прав Селивановский или, наоборот, он неправ на все четыре стороны. Так вот позвольте прочесть характеристику человека, которого Селивановский обзывает Сваакером:

«Из развалин старого общества, стряхивая пыль прошлого, подымается человек, главной чертой которого является революционная активность. Он стоит за фабричным станком, держит в руках винтовку, руководит государством, делает большие дела и незаметную работу, строит заводы и колхозы, прокладывает шоссе, железные дороги, ставит совхозы-гиганты, коллективизирует деревню, организует печать, ликвидирует кулака, воздвигает школы, борется с неграмотностью, истребляет разгильдяйство, громит религию, счищает грязь, накопившуюся веками, в поту и пыли, засучив рукава, опрокидывает миллион препятствий, подвижник труда, враг фразы, солдат революции, ударник, массовик. Он еще не оформлен как художественный образ. Его оформлением и должна заняться литература».

Товарищи, таков портрет человека, которого я считаю героем нашего времени. Об этом человеке Селивановский говорит: «это — кулак Сваакер!» По Селивановскому выходит, что Сваакер у нас стоит во главе государства, строит совхозы, колхозы-гиганты, громит религию, защищает страну нашу с винтовкой в руках и так далее, и так далее. Селивановский утверждает это, не моргнув глазом. Но есть же границы! Ведь я пишу не в безвоздушном пространстве! Есть же люди, которые мои статьи читают! Если Селивановский, выступая против моей опубликованной в печати, т.-е. доступной всякому читателю, статьи, осмеливается так дерзко извращать ее смысл, и на основе этих своих извращений квалифицирует ее содержание как правооппортунистическое, товарищи, я скажу: дальше ехать некуда. Но при таких методах критики за-

чем нам спорить, зачем обсуждать какие-то тезисы, искать какие-то общие пути, бороться с пером в руках, когда придет товарищ и в «Лит. газете», органе федерации писателей, извратит, изуродует, исказит тебя самым возмутительным образом и пустит это свое искажение в оборот.

А ведь резолюция пленума РАПШ, объявляющая мою нынешнюю позицию правооппортунистической, была написана на основании именно этого критического извращения моих взглядов. Я спрашиваю, где же кулак Сваакер в моей концепции? Его нет. Он выдуман Селивановским. А тот новый «герой», новый человек, о котором писал я в «Концах и началах», — он действительно живет, требует к себе внимания и продвигается в наше искусство. Положение многих попутчиков тем-то и трагично, — я об этом говорил в своей первой речи, — что они не учитывают происходящих перемен. Они как будто не охватывают их грандиозности. И вот здесь-то, говоря о старом и новом человеке в литературе, я и намечал разграничительные линии, которых не захотел понять т. Селивановский. Вот что писал я о «новом человеке»:

«Он истребляет и д е а л и з м, мистицизм и всякое п о п о в с т в о. Старый интеллигент, воспевая разум, поклонялся вместе с тем бессознательному, загадочному, тайному, непознанному. Современный человек—рационалист по преимуществу. Его рационализм вытекает из его реализма: он хочет знать точно, строить верно, разрушать уверенно. Он вместе с тем диалектик-материалист. Это должно застраховать его от метафизического материализма. В этом смысле он не походит на интеллигентного пролетария шестидесятых годов.

Старый человек был эстетом. Он обожал искусство независимо от того, куда оно вело. Нынешний относится к искусству критически. Он принимает его лишь в той мере, в какой искусство служит борьбе за жизнь. Он не ударяется в нигилизм, как шестидесятники или футуристы; не отрицает Пушкина, не отвергает Толстого. Напротив: с любовью учится у них. Он умеет восторгаться лирической поэмой и психологическим романом. Он широк настолько,

что воздаст должное Тютчеву и Фету. Но он знает, что «довлеет дневи злоба его», что сегодняшний день живет своими интересами, иными запросами, а значит, — новыми формами и жанрами. Тютчев и Фет — прекрасны для своего времени. Но нынешние Феты и Тютчевы не должны походить на них, как не походит день сегодняшний на день вчерашний. Борьба — прежде всего. Общественный интерес на первом плане. Таков закон эпохи. И нет исключений для искусства. «Поэзия» искусства не противопоставляется прозе «жизни». Напротив. Время требует, чтобы искусство впитало в себя «прозу» действительности, освоив, перевоплотило в художественные формы. Прежде искусство могло замыкаться в башню из слоновой кости со стеклами цветными, уходить в пустыню, становиться в сторонку от потока жизни. Современный человек хочет, чтобы искусство и жизнь были неотрывны, чтобы жизнь говорила языком искусства на улицах, площадях, в фабричных зданиях, в колхозах, в окопах. Искусство, по его мнению, не должно быть белоручкой: пусть и его будут руки мозолисты, а голос грубоват. Музе революции не пристало быть неженкой. Искусство эпохи пролетарской перестройки мира не может походить на тепличное растение.

Перед нами новые задачи, трудные, непривычные, неслыханные. Но таково наше железное время борьбы. Все неспособное, хилое, изнеженное уходит. История производит свой отбор. Что выдержит — хорошо, годится. Что не выдержит — туда ему и дорога.

Тема о старом и о новом человеке — центральная тема советской литературы. В то время как литература, связанная с буржуазным порядком, продолжает лелеять и беречь облик уходящего в прошлое интеллигента, литература, вырастающая в условиях порядка пролетарского, напротив, рвет с традиционным героем, увлеченная созданием нового образа. Именно по этой линии нетрудно провести разграничительную черту между литературой буржуазной (и новобуржуазной), попутнической и пролетарской».

Здесь т. Селивановский и бросает мне возражение, убийственное, по его

мнению. «Разве этот герой, — спрашивает он, — живет в буржуазной (и новобуржуазной) литературе? Разве этот герой вдохновил украинского контрреволюционера Ивченко в романе «Чьи силы» или Замятина в «Мы», или Пильняка в «Кр. дереве»? Разве буржуазная опасность в литературе в том, что писатель отстаивает право на сентиментальность, а не в том, что буржуазная литература, активизируясь, оказывается агентурой мирового империализма, производителем идеологических диверсионных актов, трибуной контрреволюции?»

Вопрос, что и говорить, поставлен круто. Иной читатель, пожалуй, подумает, будто то, что Селивановский с негодованием отрицает, я именно и утверждаю. Но ведь все дело в том, что вопрос Селивановского бьет по воздуху. Мы говорим о разных вещах. Я говорю о тех традициях, которые переплелись из старого порядка, из старой литературы в наши дни. Я утверждаю: эти традиции, заключающиеся между прочим и в культивировании облика старого русского интеллигента, героя старой литературы, продолжают прочней всего существовать в буржуазной литературе; с ними уже ведется борьба в литературе попутнической, лишь частично отражающей вторжение новых условий, разрушающих старые формы и старые традиции. В пролетарской литературе влияние этих традиций минимально. Правильно это или неправильно? Будет это отрицать Селивановский или не будет? Я думаю — не будет. Это так на самом деле и есть. Вот об этом-то я и говорил. А в ответ на эти мои правильные замечания Селивановский горячо замечает: «Разве этот герой вдохновил украинского контрреволюционера» и т. д. Конечно не этот! Конечно его вдохновила классовая ненависть, классовый интерес и т. п. Но пусть Селивановский проанализирует наиболее крупные произведения буржуазной и новобуржуазной литературы и выяснит, в каких литературно-художественных традициях они сделаны, каковы особенности психики их героев, их краски, их стиль, — он должен будет согласиться, что по линии художественной они продолжают традиции старой русской литературы. В этом дело и со-

стоит. Об этом-то я и писал. И здесь, в русле одних и тех же старых литературных традиций, работали и Борис Савинков, и Иван Шмелев, и Куприн, и Бунин, и Зайцев. Герои могли совершать различные конкретные действия, — у Савинкова напр. вести контрреволюционную борьбу, у Бунина вспоминать свое прошлое, у Зайцева грустить о прошлом. Но художественные тона, но краски, но психика героев, их навыки, их духовные облики, их стиль — все это было продолжением старых, ставших традиционными черт дворянско-буржуазного периода. В этом-то и заключается эпитимия буржуазной и новобуржуазной литературы. В ней нет и не может быть ничего нового. Она живет и не может не жить старым. Она обречена. Сила попутничества была в том, что оно уже рвало с традицией и воспринимало новое хотя и не последовательно, не всегда решительно, не всегда до конца. В попутнической прозе мы видим эту борьбу, эту смену традиционных черт новыми и в характерах героев, и в красках, и в формах, и т. п. Разве при обсуждении «Соти» Леонова или «Гидроцентрали» не проскальзывали здесь замечания о том, что и в героях Леонова, и в героях Шагинян есть еще черты старого русского интеллигента? Эго говорилось и об Увадьеве, и об Арно Аревьяне. Так ведь это то самое, о чем писал я и чего тов. Селивановский не понял или не хотел понять. Конечно содержание контрреволюционной прозы нынешних буржуазных писателей имеет своим материалом идеологические диверсионные акты, борьбу с социализмом и т. д. Это сущая правда, что она является агентурой мирового империализма. Но ведь эта «агентура мирового империализма» работает приемами и методами старой, дворянско-буржуазной литературы, — вот что утверждал я. Разве это отрицает т. Селивановский? Нет. Но тогда о чем же он спорит? Он и не спорит. Он просто подменяет понятия, а потом сам приходит в справедливое негодование.

Отсюда можно сделать заключение, что культивирование старых форм, старых канонов, старых образов, старых переживаний есть не что иное, как эстетическая форма политической борьбы,

как эстетическая форма контрреволюции. Даже если бы здесь не было героя, который объявлял поход против социализма, здесь есть защита его, опозитивирование старины, эстетическая реакция. Я считаю, товарищи, что в этом вопросе Селивановский неправ трижды.

Неправ он и в вопросе о лирике. Между прочим Селивановский, желая нанести мне бесчестье, сделал мне большую честь, поручив карикатуристу иллюстрировать его нападение на меня. Очевидно Селивановскому нехватало собственных сил. Он это чувствовал и позвал на помощь художника. Правда, художник оказал ему плохую помощь, потому что карикатуры получились халтурные, бездарные. Я не думаю, чтобы мои слова были обидны для т. Селивановского. А если обидны, тов. Селивановский, не сердитесь. Я лично на васнисколько не обижаюсь. Не обижайтесь и вы. Я не хочу лично вас обидеть, но я не могу драться в бархатных перчатках, когда у вас на руках железные.

(Селивановский: Вы думаете, что ваша речь, это — драка?)

О нет, это простая любезность (Смех).

Итак, я перехожу к вопросу о лирике. Это очень существенный вопрос. Но для того, чтобы меня не обвинили в замазывании своих неправильных формулировок, позвольте точно прочитать следующее:

«Тютчев и Фет прекрасны для своего времени. Но нынешние Тютчевы и Феты не должны походить на них, как не походит день сегодняшний на день вчерашний». Но вот приходит т. Нусинов и возражает, что будущие Тютчевы и не будут походить на этих Тютчевых... (Нусинов: Я не говорил этого). (Голоса: Говорил.)

Т.-е. он повторяет именно то, что говорил я. Он повторяет мои зады, но делает это с запальчивостью и раздражением, и выходит так, будто я, Полонский, говорю страшно банальные вещи, а он, Нусинов, крайне оригинален. Я ведь подчеркивал, что Феты и Тютчевы будущие не будут походить на вчерашних.

Но в наши-то дни, когда кипит борьба, когда речь идет о перестройке мира, когда общие интересы отодвигают в сторону интересы узко личные, интим-

ные, эгоистические, — в такие дни, писал я, на долю лирики выпадают самые серьезные испытания.

«В эпоху диктатуры «общего» над «личным» лирика уединенной души отступает на далекий план. «Когда говорят пушки, молчат музы» — кто не ссылался на этот афоризм! Но в нем — доля лжи. Мы приводили Брюсова: «Буря с песней вечно сестры». Не все, оказывается, под гром пушек смолкают музы. Замыкают уста те, что были созданы «для звуков сладких и молитв». Но революция имеет своих муз. Правда, их нельзя уподобить мифологическим созданиям. Их голос груб, руки мускулисты, а кожа покрыта загаром и пылью, но они умеют петь боевые песни, и эти песни остаются как настоящая литература, литература революции. Разве мало таких песен создала наша борьба? Их лирический пафос не в тончайших переживаниях нежных душ, не в печали от неразделенной любви, не в восторгах от шороха листвы, от дуновения полусонного ветерка, от соловьиной трели и т. п. атрибутов канонической лирической поэзии. Лирика революции — лирика борьбы, не личной, но общественной, не интимных переживаний, а классовой ненависти, передающая восторг не от соловьиных трелей, но от побед и достижений. Это — по преимуществу политическая лирика, лирика гражданская в буквальном смысле, проникнутая общественными, классовыми мотивами. Она заглушает лирику личных чувств и переживаний».

«Личной лирике, почерпающей мотивы из глубин и золитрованной души, величайшую трагедию приносит время, когда не остается места для лирически-интимных излияний. В нашу эпоху Ф. Тютчев был бы несчастным человеком. Фет ушел бы в молчание. Ибо их музы — именно те, которые молчат в грозу. Что могут они, утонченно-барские, сказать нашему времени о нашем времени? Революция самым фактом своего существования выбрасывает из обихода многое множество вещей, для нее безразличных. Когда стоит вопрос о перестройке мира, «шопот, робкое дыханье» могут подождать. От этого страдают лирики и даже само искусство? Что ж делать!

Закон революции — **высший закон**».

И вот, прочитав эти строки об изнеженных музах прошлого и о музах революции, мой друг Селивановский закашивает художнику Елисееву карикатуру и просит его разоблачить эту музу революции без пощадки, и рисует сей художник бабищу дебелую и румяную, но безобразную, и выводит т. Селивановский эту дурную бабищу на страницы «Литгазеты» и уверяет всенародно: «вот-де, какое Полонский имеет представление о музе революции». И выходит, что я должен отвечать за постыдное воображение тт. Елисеева и Селивановского. Но я отвечать за них не хочу. Я просто обращаюсь к читателю и прошу проверить моих критиков. О чем я говорил? Я говорил о том, что в эпохи гражданских войн на долю **интимной лирики, лирики уединенной души**, падают самые серьезные испытания. Но я не говорил, будто революция уничтожает лирику. Будто революция не нуждается в лирике. **П р и п и с а т ь** мне такую мысль — а мне приписывали ее и т. Рейзен, и т. Макарьев, и т. Селивановский — значит либо не понять меня, либо, поняв, умышленно извратить. И мне нетрудно ведь показать это. Достаточно процитировать то самое место в той же самой статье, на которое закрывают глаза мои уважаемые друзья. Вот оно:

«Было бы ошибкой думать, будто революция обрекает лирику на смерть. Такое утверждение неверно в корне уже по тому одному, что само искусство революции — если это будет настоящее искусство — лирично, как лирично искусство вообще. Подчеркиваем: **речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего лишь интересами своего изолированного «я».**

Ясно сказано? Как нельзя более ясно. Но что здесь правооппортунистическое? По совести говоря, если говорить честно, глядя в глаза, здесь только при большом патологическом желании можно найти правый оппортунизм. Но Селивановский, быть может, проявлением правого оппортунизма считает мое понимание «музы» революции? Он, быть может, хочет сказать, что никаких муз вообще нет? Правильно. Но ведь я

употребляю это слово как м е т а ф о - р у. Разве я буквально говорю о музах? Это — оборот речи. Говорят же люди еще и теперь: «когда грохочут пушки, молчат музы». Это повторяли даже рапповцы. Так что ничего нет ужасного в том, что я противопоставил «музу» революционной поэзии — классическому, дворянско - буржуазному представлению музы интимной лирики. И, по-моему, революционная «муза», если воспользуемся этим понятием, не может походить на старую, изнеженную музу с нежным голосом и тонкими пальцами. Я и писал, полагаю, правильно, что музам революционной поэзии не пристало быть неженками. Сказал же Демьян Бедный про себя: «мой голос огрубел в бою». Что тут было плохого? Хорошо сказано. И вот тот самый Селивановский, который года два провозглашает необходимым «одемянить поэзию», этот самый Селивановский, как дело дошло до муз, становится на защиту элегантных муз прошлого. Ему кажется оскорбительным, чтобы муза революции и — вдруг! — имела грубый голос и мускулистые руки, покрытые загаром и пылью. Это правый оппортунизм, заявляет он.

Вернемся однако к лирике. Это пустяки, когда Рейзен заявлял, будто я, Вяч. Полонский, душу литературу, не позволяю ей развернуться, изгоняю из нее лирику. Только этого обвинения не доставало! Стихотворение Пастернака о грудной клетке, сделавшееся знаменитым, одно из замечательнейших лирических стихов наших дней, было напечатано именно в журнале, который редактирует Полонский. Это стихотворение сейчас у всех на устах. Кто его не цитирует? Селивановский его читает наизусть. И вот, когда оно еще не было напечатано, а лишь набрано, друзья мои, прочитав его, сказали: «а не выбросить ли нам это стихотворение? В нем что-то есть». Когда я его прочитал вновь, я увидел, что в нем действительно что-то есть. Но так как это «что-то» — замечательная лирика, открывающая нам на мгновение «грудную клетку» одного из талантливейших наших поэтов, я считал, что его напечатать необходимо.

Я могу поэтому заявить, что упрек, будто моя точка зрения на лирическую

поэзию мешает пролетариату создать на стоящую пролетарскую лирику, — не справедлив. Я лирику люблю не менее Селивановского. Правда я ее вероятно люблю иначе, чем он. Я получил основное воспитание до революции. И это воспитание дало мне некоторый груз прошлого. Я напому вам Маяковского, когда он говорил о трудностях его внутренней перестройки. У меня также много от литературы и искусства старого порядка. Я не крываю этого. Но с этим наследством я каждый день борюсь. Возможно, что отсюда и пристрастие мое к лирике. Но когда передо мной как перед теоретиком становится вопрос о том, каково положение лирики в эпоху революции, то, люблю я ее или не люблю, говорю: в эпоху революции, в эпоху, когда в порядке дня стоит реконструкция мира, не время для лирики «уединенной души». Не лирики вообще, а именно «лирики **уединенной души**». Я прочитал вот то место, где я подчеркивал, что речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего интересами своего собственного «я». И вот по поводу этих строк, в которых тоже нет ничего правооппортунистического, вы, т. Селивановский, заявляете, что, если уберутся все Феты и Тютчевы, туда им и дорога, ибо они были бы в наше время контрреволюционерами. Но ведь это опять передержка. Разве я говорил об «исторических» Фете и Тютчеве, Фетекрепостнике, о Тютчеве — царском дипломате? Я привел их имена в качестве представителей определенного вида поэтического творчества. А вы возражаете: Тютчев был бы контрой. Может быть, и был бы. С точки зрения Перверзева он наверняка был бы контрой. Но ведь не об этом речь. Если мы станем говорить о Фете только как о помещике, о Тютчеве — как о дипломате, то ведь надо вспомнить, что Пушкин был царский камер-юнкер, Лермонтов — царский офицер, Гончаров — цензор, Салтыков-Щедрин — губернатор, а знаменитый Лев Толстой — был не кем иным, как помещиком, да еще «его сиятельством» графом Львом Николаевичем Толстым.

Совершенно очевидно, что если мы

станем на такую точку зрения, мы докажем чорт знает до чего, а докатившись, пожалуй, возьмем да и пошлем их полные собрания сочинений в самые Соловки.

Но я говорил о Тютчеве как о типе лирического творчества. Я писал: в нашу эпоху Фет и Тютчев были бы несчастны, потому что в нашу эпоху таким поэтам делать нечего. Поэт, который способен петь только о своем сердце, который видит только себя в мире, такой поэт — в наше время обречен. Я считаю своей обязанностью сказать это в глаза тем из лириков фетовского или тютчевского типа, которые не ищут путей к своему времени, не пытаются вырваться из тисков индивидуального лиризма, из тесного мира личного «я». Надо, чтобы они понимали, что и перед ними стоит задача перестройки, что им также надо думать о включении в нашу эпоху, что и они должны научиться говорить языком нашего времени, что «шопот, робкое дыханье» сейчас неуместны, несвоевременны. Это может подождать.

«Ага, скажете вы, подождать! Значит, по-вашему, «шопот, робкое дыханье» при социалистическом строе будет»? Да, будет. Неужели вы думаете, что когда окончательно будет разрешена проблема нашей борьбы, когда мы будем жить в коммунистическом строе, когда не будет классов, неужели вы думаете, что люди не найдут множество личных ярких переживаний и стремлений, которые послужат материалом для тогдашней лирики? ¹⁾

¹⁾ Привожу для ясности цитату из статьи «Концы и начала», которая умышленно игнорируется моими критиками, желающими навязать мои отрицания лирики вообще:

«Подчеркиваем: речь идет не о лирике вообще, но о лирике уединенного сердца, живущего и страдающего лишь интересами своего изолированного «я». Поэтам, наводняющим наши редакции такими произведениями, мы могли бы сказать:

«Товарищи! У нас фронт. Наше сознание, наша воля поглощены борьбой. Помогите нам закончить ее. Спойте нам бодрые песни, с блеском, с молодостью, с любовью, с ненавистью, но пусть эти песни не уведат нас из мира борьбы в узкий круг личных, себялюбивых, эгоистических переживаний. Не подменяйте огромного и широкого мира мелким мирком уединенной души. Сумейте связать вашу личную лирику — пусть она будет любовной! — с пафосом общей борьбы, с теми чувствами,

Я подхожу к концу статьи т. Селивановского. Разделав меня под орех, он кончает свою критику такими словами:

«Рысыпав перед попутчиками букет любезностей, Полонский кончил тем, что оставил их перед разбитым корытом. Проблема будущего очень остро стоит перед ними. Две исторические перспективы тут возможны: переход на позиции пролетариата и вращение в литературу социализма, либо уход из литературы вообще».

Так говорит Селивановский:

Две исторические перспективы: **либо вращение попутчиков в литературу социализма**, либо уход из литературы. Но если бы Полонский написал о том, что попутчики будут **вращать в литературу социализма**, он разлетелся бы как одуванчик, от него ничего бы не осталось. Что Селивановскому здорово, то Полонскому смерть. Но я этого не писал и написать не мог, потому что это — правооппортунистическая мысль. Достаточно убедительно было сказано с правооппортунистическом тезисе: кулак вращет в социализм. Но приходит т. Селивановский и с великолепной ортодоксальностью учит нас, что попутчик вращет в литературу социализма... Правда нельзя ставить знак равенства между попутчиком и кулаком. Попутчик — не кулак. Но попутчик во всяком случае — единоличник. И вот нас уверяет т. Селивановский, что эти единоличники **вращут** в социализм. И, высказав эту классически отчетливую, как бы показательную правооппортунистическую мысль, он конечно корит меня: **я-де указываю неверный маршрут попутчикам**. Правда маршрут мой и маршрут т. Селивановского не совпадают. Он заявляет, что попутчики либо вращут в литературу социализма, либо уйдут из литературы. А я говорил о том, что попутчики будут не вращать в литературу социализма, а бороться. И борясь, участвуя в социалистической стройке,

которые горят в нас и которые должны также гореть в вас самих. Но не разлагайте нашу волю вашей лирической грустью. Такой лирике сейчас нечего делать. Такая лирика должна умолкнуть». («Н. мир», 1930, № 1, стр. 129).

Здесь все сказано как нельзя более ясно. Это не мешает однако некоторым товарищам читать в этих строках то, чего в них нет, но что они хотели бы вычитать. (Примечание — для наст. публикации. Вяч. П.).

перестраивая жизнь, литературу и самих себя, наиболее честные, наиболее талантливые, наиболее преданные революции и пролетариату сумеют окончательно перейти на точку зрения пролетариата. Я подчеркивал серьезность перестройки, потому что, на мой взгляд, быстрее и легче всех (на словах конечно) перейдут на новую точку зрения пенкосниматели. Но не о пенкоснимателях и подхалимах идет речь, когда говорим мы о перестройке и зовем перестраиваться. Эти не нужны революции и пролетариату, даже если бы они, по рецепту т. Селивановского, изо всех сил вращали в литературу социализма. Не окажутся нужными также и те, кто остается на своих старых мелкобуржуазных позициях.

Такова точка зрения, какую я развивал в статье «Концы и начала». Эту же мысль я развивал и в своем предыдущем выступлении на этой дискуссии...

Теперь вы, товарищи, можете судить, почему я не мог отнестись хладнокровно к резолюции РАПП, которая клеймит меня как правого оппортуниста. Ведь по словам резолюции выходит так, что Полонский сейчас представляет последнюю опасность: покончили с Переверзевым, покончили с Воронским, надо покончить с Полонским. Что ж кончайте, товарищи, но позвольте заметить, что относительно Полонского вы ошибаетесь. Я понимаю, почему вы хотите забыть, что ошибаетесь.

(Гольцев: Это вы забыли, что вы ошибались).

Божественное зрелище! Гольцев упрекает меня в ошибках. Правда, говорят, что иногда устами младенца глаголет истина... (Шум, аплодисменты, смех).

Но в настоящем случае происходит как раз наоборот: уста младенца...

Теперь позвольте мне перейти к моим ошибкам. Меня здесь упрекали, будто я защищаю право на ошибки. Но защищать право на ошибки я не хочу. Я считаю, что более ошибочно и опасно защищать свою монополию на ошибки, лишая других права ошибаться.

Полемизируя с Селивановским, я говорил, что товарищи из РАПП лишают меня права ошибаться, оставляя за собой это право. Но почему мне запрещают ошибаться? Почему о моих ошибках

так много разговора? Почему не говорят например, что Нусинов только что, с грехом пополам признал свои ошибки? А ведь о нем пишут и сейчас как о правом оппортунисте. Это не мешает ему здесь в яростных нападках на меня обнаруживать свою выдержанность. Очевидно здесь какое-то пристрастие. Но если вопрос о моих ошибках поставлен и интерес к ним очевидно большой, — я коснусь и моих ошибок. Я не буду замазывать своих ошибок. Буду говорить жестко.

(Голос: Когда?).

Не спешите. Сейчас. (Шум, смех).

Дорогой товарищ! Я слышу, как вы дрожите от нетерпения. «Миг вождеденный настал! Полонский признал свои ошибки!» Одна из моих ошибок заключается, быть может, в том, что я еще несколько лет назад не написал письма в редакцию «Лит. газеты», в котором признал бы свои ошибки. Действительно, письма я не написал. Я избрал другой путь. Кстати т. Гольцев говорил, что я несколько раз формально отмежевывался от Воронского. Я спрашиваю его: где, когда и сколько раз я формально отмежевывался от Воронского? (Гольцев: На совещании при культпропе в ЦК от Воронского отмежевались). Вы присутствовали? (Гольцев: Нет.).

Вот как! Вы сами не слышали. Вам кто-то рассказал!

(Гольцев: Есть стенограмма, напечатана в сборнике «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата».)

У меня есть эта книга. Пожалуйста поищите.

Почему я задал этот вопрос? Когда Гольцев утверждает, что я несколько раз формально отмежевывался от Воронского, получается странная картина. Если я несколько раз от него отмежевывался, почему на меня сердится Селивановский? Дело-то в том и заключается, что формально...

(Гольцев: Я не говорил «формально»).

Нет, вы говорили это. Это все слышали. Это напечатано в «Лит. газете». Так вот, в том-то и дело, что я как раз формально от Воронского и не отмежевывался. Я не помню ни одного выступления печатного или устного, где бы я формально отмежевывался от Ворон-

ского. Это мне как-то претило. Почему? Да потому, что ошибки Воронского были часто моими собственными ошибками. Мы с ним шли вместе и вместе ошибались. Нас сближали не только литературные, но и политические ошибки. И когда он из литературы выпал и стал объектом справедливых нападков, я считал, что эти нападки касаются и меня. Я должен был так же платить за ошибки, как и Воронский. И я, повинный в тех же ошибках, что и Воронский, не мог бросить в него камень. Тем более, что мое расхождение с Воронским происходило не сразу. Я не мог, оставаясь искренним, писать в редакцию: «дорогие товарищи, я признаю свои ошибки» и т. д.! Я не делал этого не потому, что считаю такой способ признания своих ошибок нецелесообразным. Нет. Он разумен и нужен. Но я считаю, что центр тяжести лежит в действительном осознании совершенных ошибок и в их действительном исправлении. Я буду говорить жестко и откровенно. Ведь из этих заявлений очень многие литературные работники делали нечто в роде спорта. Я помню, полтора года назад на пленуме МАПП—председательствовал тогда Фадеев — Зонин меня упрекал в том, что я не каюсь. Я сказал ему в ответ, что легкомысленное, внешнее покаяние — опасная вещь. Ну, покайся раз, покайся другой, но не до бесчувствия же! — говорил я ему. Ибо, если ты из покаяния сделаешь профессию, наступит момент, когда покаянию твоему перестанут верить. По отношению к Зонину я оказался пророком. Что же касается меня лично, то мое нежелание прибегнуть к словесному признанию моих ошибок с целью застраховать себя от нападков мне ничего, кроме неприятностей, не принесло. Предположим, что я три года назад послал заявление в РАПП примерно такого содержания: «уважаемые товарищи, я дрался с вами по многим вопросам, я признаю, что я был неправ, вы оказались правыми, и я признаю свои ошибки». Я убежден, что налитпостовцы, прочтя такое письмо в газете, вероятно изменили бы свою тактику травли по отношению ко мне.

(Селивановский: Никогда).

Как?! Никогда?! Но почему же!? Я не понимаю Селивановского. В таком

ВТОРАЯ РЕЧЬ В. ПОЛОНСКОГО

случае надо сказать, что Полонского налитпостовцы травят не за его ошибки, а за то, что он — Полонский, и им безразлично, признал он их или не признал. Даже тогда, когда он их признает и осуждает, Селивановский говорит: «н и к о г д а». (Шум, смех).

Значит вы меня лично, как Полонского, не переносите? Значит «признаю или не признаю»—вам все равно? Но если таков взгляд РАПП, то конечно мне нельзя позавидовать. Очень тяжело работать, имея против себя такую могущественную организацию, которая заявляет, что прав Полонский или не прав, признает он свои ошибки или не признает, все равно Полонского надо истребить.

Так вот, товарищи, возвращаясь к своим ошибкам, я говорю: я решил исправить их на деле. Я стал пересматривать свои работы, свои теоретические взгляды, свои прежние оценки. Для меня это были не пустые слова. Есть люди, которые без труда и с большой легкостью пересматривают свои литературные взгляды. Мне это было не легко. Но я пересматривал их. Я обнаруживал ошибки. Я менял свое отношение к отдельным вопросам, менял даже их систематическое соотношение. И с тех дней, когда мы обсуждали проблемы развития пролетарской литературы в 1924 году, я во многом ушел от тех своих точек зрения, какие разделял тогда. Как квалифицировал ЦК позицию Троцкого, Воронского и мою? Как капитулянтскую. Не могу отрицать: в моей литературной позиции капитуляторство было. Признавая это, я признаю также, что был совершенно неправ в вопросе о гегемонии пролетарской литературы. В «Новом мире» я уже 2 года назад писал об этом, но не в форме письма в редакцию. Поймите, какая разница между моим методом исправления своих ошибок и тем, какого от меня требовали. Некоторые товарищи моментально признавали свои ошибки, но признавали их, на бумаге, а на деле все оставалось по-прежнему. Разве мало таких писем читали мы в «На лит. посту», в «Лит. газете»? Таких признаний можно выудить у человека сколько угодно, если этот человек слякоть. Дело заключается в том, чтобы на деле признать свои ошибки, а на

деле их признать — значит пересмотреть свои взгляды, значит изменить их. И вот в условиях сплошной и систематической травли я пересматривал свои ошибки. Сравните «Концы и начала» с тем, что я писал 3-4 года назад. Здесь совершенно другая формулировка всех основных проблем. Вы имели перед собой мои давние формулы и, напирая на них, игнорируете или извращаете все то, что я пишу сейчас. И здесь проявляется ваше пристрастное отношение. Возьмем хотя бы вопрос о «вреде», который я принес попутничеству. Макарьев бросил мне здесь такое обвинение. Всякая ошибка, совершенная кем бы то ни было, не может быть полезной. Ошибка — всегда вредна. Поэтому всякая ошибка сопровождается большим или меньшим вредом. Редко ошибка бывает безвредной. С этой стороны указание на известный вред, явившийся результатом моих ошибок, — справедливо. Но я спрашиваю вас, почему вы говорите о вреде только в одном единственном случае, когда речь идет об ошибках Полонского? Почему никто из вас словом не заикнулся о вреде, принесенном напр. т. Селивановским пролетарской литературе или т. Ермиловым и Либединским, внедрявшими в сознание пролетарских писателей теории, которые они сами должны были признать идеалистическими и оппортунистическими? Или их ошибки были безвредны? А может быть, даже полезны? Но откуда это видно? А ведь, говоря о своих ошибках, вы даже слово «вред» не упоминаете. Говоря о моих, вы этот самый «вред» ставите на самое видное место, трижды подчеркиваете, усиливаете. Но если вы это делаете, позвольте и мне взяться за это самое оружие. Прочтите пожалуйста открытое письмо правления РАПП, адресованное членам союза «Забой» (оно напечатано в 12-й книге «Октября» за 1925 год), там идет речь о правооппортунистической позиции т. Селивановского. В этом письме т. Селивановский и его друзья квалифицировались как «проводники буржуазного влияния в «Забое». Даже не мелкобуржуазного, а буржуазного. «Селивановский толкает пролетарских писателей на путь ренегатства» — читаем мы в этом письме. «Он нападает на всю линию партии в литературе». Т. Селива-

новский защищал в то время правильность линии Воронского. Я спрашиваю вас: могло это принести какую-нибудь пользу пролетарской литературе? Странный вопрос. Деятельность Селивановского была определенно вредна. Однако никто не тыкал ему в глаза этим «вредом», потому что вредное следствие ошибок подразумевалось само собой. Но когда вопрос касается Полонского, здесь пускается в ход это заржавленное оружие, как будто ошибки всех прочих были безвредны, а вот ошибки Полонского — губительны. Я ж не возражаю против того, что если бы я года 4-5 назад резко изменил мою линию, быстро исправив мои ошибки, линия путнической литературы была бы иной. В таком смысле и «вред», который я принес ей, был бы меньше. Но разве так надо ставить вопрос? Самая постановка неправильна. А что она неправильна, видно из того, что вы отказываетесь ее применять к самим себе, ибо вы знаете хорошо, что если только начать говорить о «вреде», который приносили те или иные участники нашего литературного движения, то в числе вредоносных окажутся многие из вас, не один Селивановский. «Вредными» окажутся кое-какие ваши издания, в роде двух сборников о творческих путях пролетарской литературы, где развивались идеалистические теории непосредственных впечатлений, в роде печально известной книги Ермилова «За живого человека», в роде романа Либединского «Рождение героя» и ряда других. В качестве свидетеля я мог бы привести «Правду», где совсем недавно писалось о ваших ошибках и даже о том, что вы недостаточно решительно их исправляете.

Я говорю о ваших ошибках не для того, чтобы оправдать свои. Я их не оправдываю, я их осуждаю. Но я начинаю говорить о ваших ошибках всегда, когда вы говорите о моих так, как будто бы вы сами никогда не ошибались, а если ошибались, то вы право ошибаться имеете, а я такого права лишен. В моих ошибках нет ничего исключительного: они характерны в наше время не только для меня лично, но и для ряда других товарищей. В том-то и дело, что наши ошибки не индивидуального происхождения. В них и обнаруживается

столкновение тех воззрений, которые многие из нас восприняли от литературных теорий старого порядка, с теми новыми требованиями, которые предъявила нам пролетарская идеология. Изменившееся бытие вносит существенные поправки в наше сознание, — это процесс необходимый и неизбежный. Потому-то я и подчеркиваю, что мои ошибки так же, как и ваши, — ошибки не индивидуальные, это ошибки той интеллигентской прослойки, которая существует в нашей партии. Не являясь по происхождению пролетарской, эта прослойка наряду с марксизмом впитала классовую культуру прошлого, и это не могло не отразиться на ее понимании марксизма. И вот в классовой борьбе, в страшной борьбе представители этой прослойки пересматривают и переоценивают свои взгляды. Тут речь должна идти не только об ошибках литературных, но и политических. Они неразрывно связаны. Но о политических ошибках здесь говорить не место.

Таково мое понимание наших общих ошибок. И таков, думается, самый верный путь для их преодоления. А разве ваша критика моих работ, Селивановский, ваше отношение ко мне продиктовано вашим желанием ошибки преодолеть? Оно продиктовано вашей застарелой, ставшей традиционной ненавистью к Вяч. Полонскому. Она проявилась и сейчас, когда вы, помните, не сдержавшись, бросили свое «никогда». Правда, я не скажу, что у вас нет оснований для нелюбви ко мне. Основания есть. Но надо же научиться обуздывать свои личные чувства, когда речь идет об общем деле. Именно ведь под диктовку ваших личных чувств вы не желаете считаться с моей перестройкой. Можете не считаться. Это ваше личное дело, но что это факт, тут не может быть сомнения. Вы закрываете глаза на факты. Так вы не хотели заметить моего разрыва с «Перевалом», разрыва, который знаменовал разрыв с теми концепциями творчества, какие защищались перевальцами. А ведь этот разрыв означал и разрыв с концепциями Воронского, поскольку он продолжал их поддерживать. Когда-то у меня с ним были общие взгляды по основным вопросам искусства, а теперь в области некоторых теоретических проблем Фадеев напри-

ВТОРАЯ РЕЧЬ В. ПОЛОНСКОГО

мер имеет с Воронским больше общего, чем я. Скажем, в вопросе об интуиции, о так наз. бессознательном. Но ведь вам на это в широкой степени наплевать!

Так что, товарищи, вы видите, я ошибок своих не замазываю и не отрицаю. Были у меня ошибки в смысле непризнания гегемонии пролетарской литературы, было конечно известное капитулянтство, была недооценка классового характера борьбы, происходившей в литературе, была недооценка роли организации пролетарской литературы. Были и еще, менее существенные. Все они вместе взятые конечно были ошибками правооппортунистического характера. И все те упреки, которые бросались по адресу Воронского, я готов принять на себя и разделить вместе с ним. Да. Было. Ничего тут не поделаешь.

(Гольцев: Я нашел место, где вы отмежевались от Воронского).

Гольцев нашел. Посмотрим. Вот это место: «Воронский позднее не учел изменившейся кон'юнктуры. 24-й год — не 20-й и не 21-й. Это Воронский упустил, но он постепенно исправляет свою ошибку...» Это Гольцев считает моим «отмежеванием» от Воронского. Но Гольцев не понимает, что говорит. Ведь это — моя речь на заседании в отделе печати ЦК в мае 1924 г., т.-е., когда еще даже не развернулась во-всю борьба между напостовцами и нами. Какое же это отмежевание, когда в дальнейшем я шел с Воронским, не отмежевываясь. А фраза, которую Гольцев нашел, говорит не о том, что я отмежевывался от Воронского, а о том, что я, во многом тогда разделявший взгляды Воронского, тем не менее считал, что в его редакторской практике было непонимание новых, вторгавшихся в литературу изменений. В своих «Очерках литературного движения» еще в двадцать седьмом году я писал об отчужденности А. Воронского от пролетарской литературы и о том, что некоторые значительные произведения пролетарской литературы прошли мимо журнала Воронского. Правда, я тогда эту «отчужденность» объяснял «полюемическим ожесточением» Воронского. Но такое объяснение было, разумеется, поверхностным и ошибочным. Самый же факт

«отчужденности» я подчеркивал как обстоятельство, отрицательное по существу. Именно этой отчужденности от пролетарской литературы я, как редактор «Нов. мира» старался избегать. Всем известно, что на страницах «Нов. мира» увидало свет много произведений пролетарской литературы. Но повторяю весь период литературной борьбы, когда на Воронского сыпался град обвинений, когда он подвергался жесточайшей критике, когда из этой критики делались оргвыводы, я не делал формальных заявлений о моих несогласиях с Воронским. Было ли это полезно для меня как редактора и критика? Вы знаете превосходно, что ничего, кроме неприятностей, это мне не сулило. Тем не мене я поступал именно так. Говорю об этом не как о заслуге. Вряд ли это может быть расценено как заслуга. Но я говорю о том, что было и не хочу задним числом исправлять события.

Когда же наши теоретические и практические литературные установки развели нас в разные стороны (если конечно Воронский остался на своих старых позициях), ничто не может помешать мне сказать об этом открыто и не в виде «письма в редакцию», которое само по себе может не быть доказательным, а в виде, скажем, моей последней работы «Сознание и творчество», где я ставлю и пересматриваю все основные вопросы творческого метода и, думается, разрешаю их по-новому. Может быть, и в этом пересмотре будут новые ошибки. Возможно. Застраховать себя навсегда от ошибок мне вряд ли удастся, так же, как и другим товарищам, которые попытаются самостоятельно искать новых путей в наших необычайно трудных условиях. Никогда ведь в мировой истории не было такого сложного переплета событий, как теперь. Никогда так радикально не были поставлены ребром все основные вопросы мировоззрения, как в наши дни.

Именно таков был смысл моего опять-таки извращенного Селивановским замечания о критике как истории ошибок. Критика есть искание истины, есть борьба за истину. Но всякие поиски сопровождаются ошибками. Редко они обходятся без них. Я и говорил, что с этой точки зрения история крити-

ки есть история ошибок. Это не значит, что в критике, кроме ошибок, нет ничего. Зачем же так превратно и пристрастно толковать мои слова. Но заниматься критикой и думать, что твой критический путь исключает ошибки, это значит обнаружить величайшее чванство, на почве которого неизбежно вырастет зажим самокритики.

Позвольте резюмировать по существу нашу дискуссию. Я вынужден был говорить о себе, ставить себя как критика в центре своей речи. Мне приходилось это делать поневоле. Я был вынужден это делать. Если бы на меня не обрушился ряд товарищей с подчеркиванием именно моих ошибок, если бы они не требовали, чтобы я говорил о них, я, разумеется, не отнял бы столько вашего внимания для себя лично. Не скрою: меня задел Макарьев. Я его почти не знаю. Но он производит на меня впечатление товарища, честно подходящего к вопросу, без предвзятости. Потому-то его выступление и задело меня больше всего. Но это к слову.

Эта дискуссия имеет большое значение прежде всего потому, что она решительно ставит вопрос о дифференциации попутничества. Попутничество дифференцируется под воздействием тех социальных процессов, которые происходят в нашей стране. От этой дифференциации попутничество уйти не сможет никуда.

Попутчики должны понять, что сейчас, в эпоху социалистической перестройки всей жизни, всего быта сверху донизу, они должны поставить перед собой вопрос о своем мировоззрении и об отношении своем к этой перестройке. Пересмотра основ мировоззрения, его не внешнего, не формального, но внутреннего, органического согласования с характером времени требует прежде всего их собственное искусство. В изменившихся социальных условиях должны измениться и позиции писательства. Положение попутничества, вообще говоря, уже претерпело изменения. Оно утеряло ведущую роль в нашем искусстве. Пролетариат уже подчинил своему влиянию таких выдающихся художников нашего времени, как Леонов и Шагинян. В этом и заключается сила и ведущая роль пролетариата. Кстати. Меня упрекнули в том, будто я сказал, что веду-

щая роль вообще уже принадлежит пролетарской литературе. Это было бы «стопроцентно» с точки зрения некоторых товарищей, но я этого не сказал. На мой взгляд пролетарская литература ведущей роли художественной еще не завоевала; это значило бы, что пролетарская литература уже завоевала художественно-идейную гегемонию. Но это не так. Пролетарская литература идет к гегемонии, приближается к ней, но сказать, что эта гегемония уже завоевана, значило бы помешать пролетарской литературе видеть истинное положение дела. Пролетариат как класс оказывает громадное влияние на всю нашу культуру, но пролетарская литература еще не является тем гегемоном, который диктует не только идеи, но и способы их воплощения, художественные формы, который идет как законодатель во главе нашего художественного развития. Пролетариат подходит к этому этапу, и он его завоеует, но для этого надо еще много работать, завоевать еще много позиций в пределах самого искусства.

Вот какова была моя мысль, освещающая роль пролетарской литературы.

Теперь мне остается сказать несколько слов о моем отношении к РАПП. В моей полемике с налитпостовцами, когда я нападал на налитпостовцев, на отдельных рапповцев, я говорил, что это разные вещи. Одно дело РАПП, другое дело те или иные рапповцы. Я нападал на отдельных рапповцев, но не на РАПП. И когда Лузгин например отождествлял себя и РАПП, говорил, что если ты бьешь меня, значит бьешь РАПП, — он был неправ.

(Голос: Но ведь РАПП состоит из рапповцев.)

Ах, товарищи, но ведь это не значит, что каждый отдельный рапповец, даже из числа его руководителей, есть РАПП в целом. Надо же различать! Был в числе руководителей РАПП Зонин? Был. Значит ли это, что РАПП в целом отвечает за его ошибки? Нет, не значит. Состоят Ермилов или Селивановский в числе руководителей РАПП? Состоят. Значит ли это, что их ошибки есть ошибки РАПП в целом? Нет, не значит. Об этом-то я и говорил всегда: одно дело РАПП, как могучая органи-

зация пролетарских писателей, осуществляющая огромные культурно-исторические задачи, линия которой постольку правильна, поскольку не отклоняется от генеральной линии партии, а другое дело те или иные члены РАПП, те или иные руководители его, которые делают ошибки, и эти ошибки надо критиковать. А какая картина получается при вашем толковании? РАПП состоит из рапповцев. РАПП как целое ведет правильную, партийную линию в искусстве. Значит и все мы, рапповцы, ведем правильную линию. Значит, нас нельзя критиковать? Потому что критика рапповца есть борьба с этим рапповцем. А так как РАПП состоит из рапповцев, то выходит, что всякий, кто критикует даже действительные ошибки рапповца, борется с РАПП, является врагом РАПП.

Но ведь такое толкование приведет только к зажиму самокритики. Ведь при таком толковании рапповцы действительно выше критики, критике неподсудны. Но ведь такое толкование — вреднейшее толкование, идущее как раз вразрез с требованием партии о строжайшей самокритике от самого верха до самого низа. Я конечно дрался не с

РАПП, а с отдельными рапповцами. А рапповцы уверяли, будто все мои попытки нанести удар тому или иному рапповцу были попыткой нанести удар самому РАПП. Повторяю, РАПП — это мощная организация, которая идет во главе нашего движения, выполняет величайшие культурные задачи, на РАПП ляжет ответственность за общий характер и за все детали нашего литературного развития. Но РАПП только тогда окажет всестороннее положительное, мощное влияние на развитие литературы, когда рапповцы, от которых зависит тот или иной частный метод рапповской работы, откажутся от старых приемов борьбы, осужденных ими самими и осужденных ЦК, от старых приемов критики, от кружковых пристрастий, от боязни смелой самокритики, от всех тех вредных явлений, которые они в своей последней резолюции, принятой на 4 пленуме правления РАПП, совершенно справедливо клеймят как недостойные. Вот против этих вредных и недостойных приемов борьбы отдельных рапповцев, так же, как против их теоретических ошибок, я дрался и буду драться до последней капли крови. (Аплодисменты).